



---

## *Что откуда взялось? Возникновение коммуналок*

Причина появления коммуналок очевидна. Очевидно и то, почему они по большей части возникали в Москве. После революции 1917 года жизнь во всей России стала нестерпимой. Безденежье, бескормица, болезни, эпидемии, братоубийства и полнейшее непонимание того, что происходит. В подобных ситуациях многие люди, выброшенные из привычного уклада, тянутся в столицу. Ограничений на перемещение в то время не было. В Москву ехали отовсюду — и здесь оставались, найдя если не счастье, то, во всяком случае, возможность что-то заработать или же украсть.

Естественно, всем этим людям следовало где-то жить. Притом жилое помещение должно быть капитальным, теплым — климат в средней полосе далек от средиземноморского. Это с одной стороны.

С другой же стороны, новые власти декларировали всякого рода борьбу с пережитками прошлого. Роскошные (как представлялось хозяевам новой жизни) многокомнатные квартиры с черными лестницами и специальными помещениями для прислуги, безусловно, относились к их числу.

Складываем два и два — и получаем целый город коммуналок — столицу государства коммуналок.

Сам Ленин в статье «Удержат ли большевики государственную власть?» излагал приблизительное действие этого механизма: «Пролетарскому государству надо

принудительно вселить крайне нуждающуюся семью в квартиру богатого человека. Наш отряд рабочей милиции состоит, допустим, из пятнадцати человек: два матроса, два солдата, два сознательных рабочих (из которых пусть только один является членом нашей партии или сочувствующим ей), затем один интеллигент и восемь человек из трудящейся бедноты, непременно не менее пяти женщин, прислуги, чернорабочих и т. п. Отряд является в квартиру богатого, осматривает ее, находит пять комнат на двоих мужчин и двух женщин. — “Вы потеснитесь, граждане, в двух комнатах на эту зиму, а две комнаты приготовьте для поселения в них двух семей из подвала. На время, пока мы при помощи инженеров (вы, кажется, инженер?) не построим хороших квартир для всех, вам обязательно надо потесниться. Ваш телефон будет служить на десять семей. Это экономит часов сто работы, беготни по лавчонкам и т. п. Затем в вашей семье двое незанятых полурабочих, способных выполнить легкий труд: гражданка пятидесяти пяти лет и гражданин четырнадцати лет. Они будут дежурить ежедневно по три часа, чтобы наблюдать за правильным распределением продуктов для десяти семей и вести необходимые для этого записи. Гражданин студент, который находится в нашем отряде, напишет сейчас в двух экземплярах текст этого государственного приказа, а вы будете любезны выдать нам расписку, что обязуетесь в точности выполнить его”».

И всё. Не отвертисься.

Поэтесса Ирина Одоевцева писала в своих мемуарах о Москве 1921 года: «Я гощу у брата и, как здесь полагается, живу с ним и его женой в одной комнате, в “уплотненной” квартире на Басманной.

У нас в Петербурге ни о каких “жилплощадях” и “уплотнениях” и речи нет. Все живут в своих квартирах, а если почему-либо неудобно (из-за недействующего центрального отопления или оттого что далеко от места службы), перебираются в другую пустующую квартиру — их великое множество — выбирай любую, даром, а получить разрешение поселиться в них легче легкого.

Здесь же, в квартире из шести комнат двадцать один жилец — “Всех возрастов и всех полов” — живут в тесноте и обиде.

В такой тесноте, что частушка, распеваемая за стеной молодым рабочим под гармошку, почти не звучит преувеличением:

Эх, привольно мы живем —  
Как в гробах покойники:  
Мы с женой в комодке спим,  
Теща в рукомойнике.

Большинство жильцов давно перессорились. Ссоры возникают главным образом на кухне между жилищами, мужья неизменно выступают на защиту жен, и дело часто доходит до драки и, во всяком случае, до взаимных обид и оскорблений».

Ирина Владимировна рано радовалась — в скором времени и в Петербурге начнется процесс формирования коммуналок, а в какой-то момент ситуация там станет хуже московской.

В 1924 году московские власти приняли постановление «Об урегулировании жилищного дела в Москве», в соответствии с которым на каждого человека должна была приходиться площадь не менее 20 квадратных метров. Но, как известно, строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. В том числе со стороны самих властей. Поэтому теснились — в том числе и на вполне законном основании — по пять-шесть человек в маленькой коммунальной комнатке, в том числе и в уже упоминавшихся помещениях для прислуги. И ничего, не роптали. За счастье считали. А кому не нравится — вали обратно в свою глушь.

В деревнях коммуналок, как нетрудно догадаться, не было.

В том же году появился закон о выселении последних помещиков из их родовых имений. Разумеется, к тому моменту там остались в основном старые и немощные представители некогда знатных родов. Те, кто помоложе, либо отправились за границу, либо подались искать счастья в Москве, либо очутились за решеткой. Все это старичье, естественно, пополнило число столичных коммунальных жителей — в богадельни забирали далеко не всех, хотя и эта относительно гуманная практика существовала.

Сергей Михайлович Голицын писал в книге «Записки уцелевшего»: «Население Москвы с каждым днем стремительно увеличивалось. Полицейской паспортной системы тогда не успели еще придумать, прописывали граждан безоговорочно, лишь бы куда прописать, хоть в темный чулан, хоть в ванную комнату. Возвращались в Москву те, которые в свое время ее покинули из-за голода... Юноши и девушки ехали учиться и завоевывать славу. Ехали дельцы, прознавшие, что в Москве можно хорошо устроиться и нагрести много денег. У всех переселенцев был багаж, подчас весьма громоздкий, его требовалось доставить с вокзалов в какие-то квартиры. Предприимчивые люди везли с вокзалов разные товары, наконец, подмосковные крестьяне на своих лошадях доставляли мясные и молочные продукты, овощи, дрова».

Корней Чуковский писал в дневнике: «В Москве теснота ужасная: в квартирах установился особый московский запах — от скопления человеческих тел. И в каждой квартире каждую минуту слышно спускание клозетной воды, клозет работает без перерыву. И на дверях записочка: один звонок такому-то, два звонка — такому-то, три звонка — такому-то».

Он же изумлялся: «Был вчера у Тынянова. Странно видеть на двери такого знаменитого писателя табличку:

*Тынянову звонить 1 раз*  
*Ямпольскому — 2 раза*  
*NN — 3 раза*  
*NNN — 4 раза*

Он живет в коммунальной квартире! Ход к нему через кухню. Лицо изможденное. Мы расцеловались. Оказалось, что положение у него очень тяжелое.

Елена Александровна больна — поврежден спинной хребет и повреждена двенадцатиперстная кишка. Бедная женщина лежит без движения уже неск. месяцев. Тынянов при ней сиделкой. На днях понадобился матрац — какой-то особенный, гладкий. Т. купил два матраца и кровать. Все это оказалось дрянью, которую пришлось выкинуть. «А как трудно приглашать профессоров! Все так загружены». Доктора, аптеки, консилиумы, рецепты — все это давит Ю. Н., не дает ему писать. «А тут еще Ямпольские — пошлые торжествующие ме-

щане!” И за стеною по ночам кричит ребенок, не даст спать! Ю. Н. хлопочет, чтоб ему позволили уехать в Париж, и дали бы денег — в Париже есть клиника, где лечат какой-то особенной сывороткой — такую болезнь, которою болен Ю. Н. “У меня то нога отымается, то вдруг начинаю слепнуть”».

Но приходилось терпеть.

Тынянов и другие, перечисленные выше, граждане по тем временам еще неплохо устроились. Тогда остаться без жилья вообще не было чем-то выдающимся и сверхъестественным. Ну нет — и ладно. Мариенгоф писал: «Случилось, что весной девятнадцатого года я и Есенин остались без комнаты. Ночевали по приятелям, по приятельницам, в неопишемом номере гостиницы “Европа”, в вагоне Молабуха, в люксе у Георгия Устинова — словом, где на чем и как попало.

Как-то разбрелись на ночь. Есенин поехал к Кусикову на Арбат, а я примостился на диванчике в кабинете правления знаменитого когда-то и единственного в своем роде кафе поэтов...

Солнце разбудило меня... Весна стояла чудесная.

Я протер глаза и протянул руку к стулу за часами. Часов не оказалось. Стал шарить под диваном, под стулом, в изголовье...

— Сперли!

Погрустнел.

Вспомнил, что в бумажнике у меня было денег обидов на пять, на шесть — сумма изрядная.

Забеспокоился. Бумажника тоже не оказалось.

— Вот сволочи!

Захотел встать — исчезли ботинки...

Вздумал натянуть брюки — увы, натягивать было нечего.

Так через промежутки — минуты по три — я обнаруживал одну за другой пропажи: часы... бумажник... ботинки... брюки... пиджак... носки... панталоны... галстук...

Самое смешное было в такой постепенности обнаруживаний, в чередовании изумлений».

К счастью, писательская взаимовыручка в этом случае сработала безотказно: «Если бы не Есенин, так и сидеть мне до четырех часов дня в чем мать родила в пустом, запертом на тяжелый замок кафе (сообщения наши с миром поддерживались через окошко).

Куда пойдешь без штанов? Кому скажешь?

Через полчаса явился Есенин. Увидя в окне мою растерянную физиономию и услыша грустную повесть, сел он прямо на панель и стал хохотать до боли в животе, до кашля, до слез.

Потом притащил из “Европы” свою серенькую пиджачную пару. Есенин мне до плеча, есенинские брюки выше щиколоток. И франтоватый же я имел в них вид!»

Молодость и поэтическая одаренность позволяли видеть во всем этом исключительно забавные истории и увлекательные приключения. Бездомным в возрасте, больным было гораздо хуже.

\* \* \*

Коммунальные квартиры возникали всюду, даже в самых, казалось бы, элитных домах. В частности, в роскошном доме на московской улице Солянке, 1/2. Он был построен в 1915 году Варваринским обществом домовладельцев и изначально позиционировался как элитный. Тем не менее после 1917 года практически все бывшие роскошные квартиры были порезаны на коммунальные.

Краевед Юрий Федосюк вспоминал: «С наплывом людей из провинции некогда богатые многокомнатные квартиры в предреволюционных доходных домах превратились в коммунальные — на несколько семей. Существовал приказ, предписывавший на каждом доме вывешивать жестяные доски со списком ответственных съемщиков — по квартирам. Любопытно было читать эти списки: при каждой квартире значилось до десятка фамилий! Каким-то обратным приказом все эти доски после войны были удалены. Помню случайно уцелевшую в 1961 году в подъезде дома № 1 по Машкову переулку: только в квартире № 17 была указана одна фамилия — Е. П. Пешкова (вдова А. М. Горького), во всех остальных проживало по несколько семей; а ведь в доме, комфортабельном и благоустроенном, до революции жили преимущественно представители интеллигенции, профессура и врачи.

Коммунальные квартиры стали непременным и неизбежным атрибутом послереволюционного быта. Можно себе представить, как осложняли жизнь “места

общего пользования”, кухня, где одновременно шипело несколько керосинок и примусов, вражда случайно объединенных жилплощадью самых разных по культурному уровню и происхождению семей, драка за крохотный участок в коридоре или на кухне: “Опять ваш велосипед весь коридор загораживает”, “А вы свой столик на кухне подальше отодвиньте, нечего других оттеснять”, “Вы бы хоть научились в уборной воду спускать, теперь лакеев нет”, “Не смейте собаку в ванне мыть” и т. п. Входы в квартиры были снабжены либо несколькими “индивидуальными” звонками, либо одним общим, но с многочисленными карточками: Ивановым — один раз, Петровым — два звонка, Сидоровым — два коротких, один длинный и т. д. На самих входных дверях висело по несколько почтовых ящиков с указанием фамилии и выписываемой периодики».

Детский писатель Владимир Артурович Лёвшин рассказывал о деградации знаменитого дома Пигита, в котором жил он сам, а также Михаил Булгаков: «Дом пятиэтажный... Один из двух его корпусов — тот, что на пол-этажа повыше, выходит фасадом на улицу; другой — буквой П — находится во дворе, куда ведет длинная подворотня. Когда-то две клумбы и фонтан украшали его асфальтовый прямоугольник. В центре фонтана стояла скульптура: мальчик и девочка под зонтом. Теперь на этом месте растут два дерева, огороженные низенькими зелеными колышками.

Проходя мимо дома Пигит теперь, в эпоху пластика и железобетона, вы вряд ли обратите на него внимание: типичный для старой Москвы доходный дом, какие строили в начале века в расчете на “чистую публику”. А прежде, до реконструкции Садового кольца, еще не стиснутый громадами каменных соседей, дом выглядел внушительно. Шикарные эркеры, лепные балконы... Нарядный, полукругом выгнутый палисадник отделял здание от тротуара.

Поверх чугунной ограды рвались на улицу тугие соцветия невиданно крупной сирени.

Бельэтаж с длинными балконами на улицу занимал сам Пигит. Компаньон его, владелец гильзовой фабрики Катък (“Покупайте гильзы Катька!”), разместился на четвертом этаже второго корпуса. Кто же еще? Директор Казанской железной дороги Пентка (подъезд № 7,



отдельный). Управляющий Московской конторой императорских театров, он же художник по совместительству, фон Бооль (это про него шаляпинское: “Я из него весь ‘фон’ выбую, одна ‘боль’ останется!”). А одно время обитал тут даже миллионер Рябушинский — в огромной художественной студии, снятой якобы для занятий живописью, а на самом деле для внесемейных развлечений. Таких, расположенных одна над другой студий в доме три. Рябушинский занимал верхнюю, там и стрелялся, впрочем, без серьезных последствий».

А вот что стало с домом после 1917 года: «Перемены, которые принесла революция, не могли не коснуться и дома Пигит. Постановлением районного Совета из дома выселены “классово чуждые элементы”. Взамен исчезнувших жильцов появились новые — рабочие расположенной по соседству типографии. Одни расселились в опустевших помещениях, другие заняли комнаты в квартирах оставшихся. Оставшиеся — это интеллигенты, из тех, кто либо сразу принял революцию, либо постепенно осваивался с ней.

К этому времени относится знаменательное событие в послереволюционной истории дома: он становится первым в Москве, а может быть и в стране, домом — рабочей коммуной. Управление, а частично и обслуживание его переходят в руки общественности. Есть здесь свои водопроводчики, электрики, плотники, врачи. Моя мать, например, медицинская сестра, и ее могут в любое время вызвать к больному... Словом, каждый делает, что может. Все это, разумеется, совершенно безвозмездно».

\* \* \*

Еще один, весьма своеобразный тип советской коммуналки описывали Ильф и Петров в романе «Двенадцать стульев»: «Это была старая, грязная московская гостиница, превращенная в жилтоварищество, укомплектованное, судя по обшарпанному фасаду, злостными неплательщиками.

Ипполит Матвеевич долго стоял против подъезда, подходил к нему, затвердил наизусть рукописное объявление с угрозами по адресу нерадивых жильцов я, ничего не надумав, поднялся на второй этаж. В коридор

выходили отдельные комнаты. Медленно, словно бы он подходил к классной доске, чтобы доказать не выученную им теорему, Ипполит Матвеевич приблизился к комнате № 41. На дверях висела на одной кнопке, головой вниз, визитная карточка:

Авессалом Владимирович ИЗНУРЕНКОВ

В полном затмении, Ипполит Матвеевич забыл постучать, открыл дверь, сделал три лунатических шага и очутился посреди комнаты.

— Простите, — сказал он придушенным голосом, — могу я видеть товарища Изнуренкова?

Авессалом Владимирович не отвечал. Воробьянинов поднял голову и только теперь увидел, что в комнате никого нет. По внешнему ее виду никак нельзя было определить наклонностей ее хозяина. Ясно было лишь то, что он холост и прислуги у него нет. На подоконнике лежала бумажка с колбасными шкурками. Тахта у стены была завалена газетами. На маленькой полочке стояло несколько пыльных книг. Со стен глядели цветные фотографии котов, котиков и кошечек. Посредине комнаты, рядом с грязными, повалившимися набок ботинками, стоял ореховый стул. На всех предметах мебелировки, а в том числе и на стуле из старгородского особняка, болтались малиновые сургучные печати. Но Ипполит Матвеевич не обратил на это внимания. Он сразу же забыл об Уголовном кодексе, о наставлениях Остапа и подскочил к стулу.

В это время газеты на тахте зашевелились. Ипполит Матвеевич испугался. Газеты поползли и свалились на пол. Из-под них вышел спокойный котик. Он равнодушно посмотрел на Ипполита Матвеевича и стал умываться, захватывая лапкой ухо, щечку и ус.

— Фу! — сказал Ипполит Матвеевич. И потащил стул к двери. Дверь раскрылась сама. На пороге появился хозяин комнаты — блеющий незнакомец. Он был в пальто, из-под которого виднелись лиловые кальсоны. В руке он держал брюки.

Увидев в своей комнате человека, уносящего опечатанный стул, Авессалом Владимирович взмахнул только что выглаженными у портного брюками, подпрыгнул и заклекотал:

— Вы с ума сошли! Я протестую! Вы не имеете права! Есть же, наконец, закон! Хотя дуракам он и не писан, но

вам, может быть, понаслышке известно, что мебель может стоять еще две недели!.. Я пожалуюсь прокурору!.. Я уплачу, наконец!»

Многообразие форм коммунального быта способно было поразить самое изощренное воображение.

\* \* \*

Константин Бальмонт писал в 1920 году: «Снова я проснулся в холодной постели, в комнате, издавна промерзлой, ибо давно уже нам топить было нечем. Полуоткрытыми глазами, чувствуя в душе и в теле утомление безграничное, я смотрел, и все кругом было так, совершенно так же, как это установилось уже много недель и месяцев. Я лежу на диване в комнате, которая когда-то была моим рабочим кабинетом, а теперь стала учреждением всеобъемлющим. Рабочим моим кабинетом эта комната не перестала быть. Шкаф с книгами — поэты и философы, книги по истории религий, много книг по естествознанию — стоит на своем месте: этого у меня никто не отнял. На своем месте и письменный стол; на нем тоже правильные ряды книг и вчера оконченная рукопись, которая никому не понадобится. Она никому и не нужна. Это — нечто о древних мексиканцах. Против меня, у стены, где дверь, — моя кровать. В этой холодной постели, несколько согревая друг друга телесным теплом, спят два близких мне существа. Моя девочка двенадцати лет, изголодавшаяся, ослабевшая, много недель не решающаяся выйти из постели в холодный воздух комнаты и вовсе не выходящая из дому, потому что выйти не в чем, ее мать, делящая со мной мою жизнь и, несмотря на свои лохмотья, каждое утро бегающая на Смоленский рынок, чтобы раздобыть какой-нибудь съедобы. Но, кроме пшеницы, что же добудешь? Тут же, около кровати, и печурка, на которой это пшено будет изготовлено».

В стране происходило нечто страшное.

\* \* \*

Под коммуналки переоборудовали и роскошный комплекс из двух зданий, глядящих друг на друга через Петровские линии. Еще в 1874 году «Товарищество

Петровских линий» скупило огромный участок земли между улицами Петровкой и Неглинной, отстроило эти два дома, а переулок между ними подарил городу. Застрелив тем самым одним выстрелом сразу двух зайцев — снискало себе славу мецената и обеспечило свободный доступ к многочисленным магазинам, которые арендовали у «Товарищества» помещения.

Здесь размещались магазин книгоиздательства «Посредник», ресторан «Россия», кафе «Элит». Петровские линии освещались редким по тем временам «яблочковыми», то есть электрическими лампами. Квартиры отличались роскошью невероятной. И все это было безжалостным образом отправлено в прошлое. На смену пришел другой мир — коммунальный.

А вот как выглядела жизнь особняка Самариных на Спиридоновке, 18. Ее описывал Сергей Михайлович Голицын: «Самаринский особняк, одноэтажный, с антресолями, в свое время занимала одна барская семья; к 1922 году он битком набился враждовавшими или дружившими между собой жильцами. В антресоли вела внутренняя, скрипевшая ступеньками деревянная лестница с обломанными резными перилами, кончавшаяся площадкой; там стояли кухонные столы с посудой и с неизменной принадлежностью всех московских квартир — примусами, аппетитно шумевшими с утра до вечера.

С площадки вели три двери. За одной из них была маленькая комнатка, в которой жил старый холостяк — бывший капитан Полозов, о ком еще недавно вздыхала наша тетя Саша; за годы революции усы его поредели и сам он сильно потускнел. Дальнейшая его судьба сложилась печально: в середине двадцатых годов его посадили, сослали в Коми АССР, где он и умер.

За второй дверью жила студентка-медичка, скромная девушка, время от времени притаскивавшая домой части человеческого тела, отчего на площадке стоял острый запах, смешанный с чадом от примусов и подгорелых кушаний. К уборной приходилось спускаться на первый этаж, а там постоянно оказывалось занято.

Третья дверь вела в просторную комнату, там же находилась широкая, на четыре человека, тахта, стояли старинные кресла и стулья, стояли, висели и просто валялись разные старинные вещи, цельные и разбитые —

акварельные портреты самаринских предков, фарфоровые вазы и чашки, бронза и т. д. Окна выходили на крышу первого этажа, куда можно было в хорошую погоду вылезать.

Из этой комнаты шли две двери — за одной находилась маленькая спальня с двумя кроватями, комодом и шкафом. Все там было вычищено, аккуратно застелено, подметено. Другая дверь вела в просторную комнату, также с двумя кроватями со скомканными одеялами и грязными простынями и наволочками. Там стояла различная старинная мебель, цельная и поломанная, и груды валялись многие антикварные предметы, снесенные сюда со всего самаринского дома; все было покрыто пылью и потеряло свой прежний, подчас художественный облик. В комнате витал резкий запах от кучи грязного белья, пахло табачным дымом и мочой. Источник последнего запаха сразу обнаруживался: он исходил от втиснутого в поломанное кресло, перевернутого майоликового бюста царевны Волховы, изваянного Врубелем, и превращенного — искусствоведа, ужасайтесь! в ночной горшок.

В маленькой аккуратной спальне жили моя сестра Лина и девочки Бобринские. Эта комната называлась “раем”. Первая, проходная комната называлась “чистилицем” — там спали моя сестра Соня и мой брат Владимир, уволившийся из Главморнина после последней для него экспедиции в Карское море; там же спали задержавшиеся до рассвета гости-мужчины. Комната со скверным запахом называлась “адам”, в ней жили два восемнадцатилетних друга — Юша Самарин и Миша Олсуфьев, сын нашего соседа по имению, бывшего владельца Буйц графа Юрия Александровича Олсуфьева».

\* \* \*

Иногда случались странные преестественности. Иосиф Бродский писал в зарисовке «Полторы комнаты»: «Наши полторы комнаты были частью обширной, длиной в треть квартала, анфилады, тянувшейся по северной стороне шестизэтажного здания, которое смотрело на три улицы и площадь одновременно. Здание представляло собой один из громадных брикетов в так называемом мавританском стиле, характерном для Се-

верной Европы начала века. Законченное в 1903 году, в год рождения моего отца, оно стало архитектурной сенсацией Санкт-Петербурга того времени, и Ахматова однажды рассказала мне, как она с родителями ездила в пролетке смотреть на это чудо. В западном его крыле, что обращено к одной из самых славных в российской словесности улиц — Литейному проспекту, некогда снимал квартиру Александр Блок. Что до нашей анфилады, то ее занимала чета, чье главенство было ощутимым как на предреволюционной русской литературной сцене, так и позднее в Париже в интеллектуальном климате русской эмиграции двадцатых и тридцатых годов: Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус. И как раз с балкона наших полутора комнат, изогнувшись гусеницей, Зинка выкрикивала оскорбления революционным матросам.

После революции, в соответствии с политикой “уплотнения” буржуазии, анфиладу поделили на кусочки, по комнате на семью. Между комнатами были воздвигнуты стены — сначала из фанеры. Впоследствии, с годами, доски, кирпичи и штукатурка возвели эти перегородки в ранг архитектурной нормы. Если в пространстве заложено ощущение бесконечности, то — не в его протяженности, а в сжатости. Хотя бы потому, что сжатие пространства, как ни странно, всегда понятнее. Оно лучше организовано, для него больше названий: камера, чулан, могила. Для просторов остается лишь широкий жест.

Помимо излишка в тринадцать квадратных метров, нам неслыханно повезло еще и в том, что коммунальная квартира, в которую мы въехали, была очень мала, часть анфилады, составлявшая ее, насчитывала шесть комнат, разгороженных таким образом, что они давали приют только четверем семьям. Включая нас, там жило всего одиннадцать человек. В иной коммуналке число жильцов могло запросто достигать и сотни. Середина, однако, колебалась где-то между двадцатью пятью и пятьюдесятью. Наша была почти крошечной.

Разумеется, мы все делили один клозет, одну ванную и одну кухню. Но кухню весьма просторную, клозет очень приличный и уютный. Что до ванной — гигиенические привычки были таковы, что одиннадцать человек нечасто сталкивались, принимая ванну или стирая

белье. Оно висело в двух коридорах, соединявших комнаты с кухней, и каждый из нас назубок знал соседское исподнее.

Наш потолок, приблизительно четырнадцати, если не больше, футов высотой, был украшен гипсовым, все в том же мавританском стиле орнаментом, который, сочетаясь с трещинами и пятнами протечек от временами лопавшихся наверху труб, превращал его в очень подробную карту некой несуществующей сверхдержавы или архипелага. Из трех высоких сводчатых окон нам ничего не было видно, кроме школы напротив; но центральное окно одновременно служило дверью балкона. С этого балкона нам открывалась длина всей улицы, типично петербургская безупречная перспектива, которая замыкалась силуэтом купола церкви св. Пантелеймона или — если взглянуть направо — большой площадью, в центре которой находился собор Преображенского полка ее императорского величества».

\* \* \*

Александр Каплун вспоминал знаменитый нацкинский дом в Воротниковском переулке, тоже превращенный в простую московскую коммуналку: «Квартира в бельэтаже, туда вела мраморная лестница с бронзовыми шариками для крепления ковра. В квартире жило шесть семей. Четыре из них — мои родственники со стороны отца. Самую большую площадь занимали дядя Володя, тетя Аня (старшая сестра отца) и их дочь Мирочка, очень красивая и веселая девушка. Она стала учительницей, потом работала в “Труде”. Сын, Марик Новицкий, уже жил отдельно. Мы им очень гордились — известный эстрадный артист. Главная особенность дяди Володиных комнат — огромное количество книг. У нас, например, книг было не больше десятка: справочник Нине, автобиография Сталина (подарок отцу от сослуживцев), Краткий курс ВКП(б) и несколько моих сказок. Мама стала покупать книги много позже.

Три семьи жили в бывшей большой комнате, разделенной перегородками на три. Раньше там жила почти вся семья отца: моя бабушка, отец, два его брата и две сестры. Потом папа женился, и отгородили 11 метров с одним окном, потом вышла замуж тетя Рива, женился

дядя Митя, они разъехались на Самотеку и к Красным воротам. Женился дядя Яша. отгородили еще 11 метров — получилось три комнаты».

Упомянутые здесь перегородки — вещь очень распространенная в коммунальной квартире. Нормальное жилище превращалось в коммуналки чаще всего наспех и, как думалось, на время. На совсем непродолжительное время. И поэтому перегородки рождались и стояли десятилетиями, переживая не одно поколение людей.

Благодаря этой технологии было прекрасно слышно все, что происходит у соседей. А детям, разумеется, еще и видно — редкий представитель подрастающего поколения не залезал на шкаф, чтобы через перегородку посмотреть на жизнь каких-нибудь там дяди Миши с тетей Дашей.

Да и чужая кошка, спрыгнувшая сверху прямо на стол, уставленный едой, не считалась чем-то сверхъестественным. Ну кошка и кошка. С кем, как говорится, не бывает.

Особо неудобными, конечно, были наиболее роскошные апартаменты. Комнаты в них располагались анфиладами, и, соответственно, все коммуналки были проходными. Спишь себе на какой-нибудь барской кровати, а мимо тебя чужая бабушка идет опорожнять свою ночную вазу. Конечно, все, что можно было, занавешивали дорожущими туркменскими коврами и закрывали не менее ценными, коллекционными китайскими ширмами — эти барские безделицы вдруг обретали совершенно неожиданную функциональность. Но комфортным проживанием подобное, конечно, все равно нельзя было назвать.

\* \* \*

Фактически в музей — только без посетителей — был превращен особняк Маргариты Кирилловны Морозовой. Там разместили отдел по делам искусств при Наркомпросе. Саму же бывшую хозяйку пожалели и не выгнали: ей на пару с сестрой Еленой Кирилловной Востряковой предоставили две комнаты в подвальном помещении, где некогда размещалась прислуга.

Художница Ирина Ивановна Соя-Серко вспоминала: «Довольно продолжительное время наша семья жила



в подвале, в большой комнате. Здесь было сыро, солнце не баловало нас. Обувь под кроватями становилась зеленой. Ранней весной нас заливало талыми водами так, что пройти в квартиру можно было только по досточкам, положенным на кирпичи. Окна в квартире были чуть выше асфальта. Рядом с нашими двумя комнатами жил истопник со своей женой, прачкой. Время от времени он напивался и затихал, зато бурно вела себя его жена. В средней комнате жила студентка, а в самой дальней — супруги, рабочие типографии. Умывались все над кухонной раковиной, туалетного мыла не было, мылись стиральным. Но в квартире царил лад, никто не мешал жить другому. Редкие скандалы истопника и его жены встречали снисходительно. Правда “супруг из типографии”, приходя с работы, устраивался с баяном и целый вечер пел “Кирпичики”, от чего можно было сойти с ума... Несмотря на скудость нашего житья, мы считали, что живем неплохо. У нас были знакомые, друзья, мы ходили в гости, сами устраивали “приемы”. Мы придумывали всякие скетчи, шаржи, эпиграммы, шуточные выступления...

Когда в 1934 году нам посчастливилось получить отдельную квартиру, мы были первые из наших родных и знакомых, кто мог жить без соседей. И хоть наша квартира не имела кроме электричества и водопровода никаких удобств, мы были счастливы!»

Все это считалось нормой. В бывшем доме Живаго на Большой Дмитровке продолжал жить сам бывший владелец, сам доктор Живаго (не придуманный Борисом Пастернаком, а живой, настоящий, такой тоже был, служил в Голицынской больнице). Он писал в дневнике: «Поел хлеба при свете огарка, так как в моей комнатке t ниже нуля, поспешил в ледяную постель... Впрочем, это повторяется чуть ли не ежедневно, у нас не топят. В кабинете t доходит до 4 ниже нуля. Пишешь свои работы и дрожишь в шубенке, руки синие, плохо слушаются, а на глазах совсем нередко слезы — до чего дожили?!»

Эта комнатка была единственным жилищем бывшего московского домовладельца. Шел 1919 год.

Интересен отчет о перемещениях старшей дочери Льва Толстого, Татьяны Львовны Сухотиной-Толстой, оставленный Татьяной Алексеевной Фохт: «После рево-

люции Таня с Танечкой перебрались в Москву. Сначала они жили при музее Льва Николаевича Толстого на Пречистенке. Там тетя Таня открыла вечернюю студию рисования, где преподавала она сама. Была она хорошей художницей, и преподавал также художник С. А. Виноградов. Я посещала эту студию, но, к сожалению, недолго... Из музея тетя Таня перебралась на Поварскую. Из конюшен были выстроены квартиры».

В ход шло абсолютно любое пространство, имевшее стены, пол и потолок. Окна и двери тут были уже не обязательны.

\* \* \*

Создавали коммуналки и в монастырях. К примеру в Новоспасском. Там они соседствовали с Московским историческим архивом, угольным и дровяным складами, котельной мебельной фабрики и вытрезвителем.

Впрочем, в 1960-е все это разношерстное хозяйство выселили, саму же бывшую обитель отвели под реставрационные мастерские им. И. Э. Грабаря, так называемые «Грабари». А в 1990 году его вернули верующим.

В 1925 году в Ильинской башне Китай-города проживали несколько студентов Московской духовной академии. А рядышком, в самой стене, расположилась одна из многочисленных воровских шаяк. Люди осваивали чердаки, подвалы. Дворницкие вообще считались шиком. Под жильем шло все.

Искусствовед и реставратор Елена Владимировна Трубецкая писала в дневнике: «В расход отправилось и специфическое помещение, расположенное в здании бывших курсов Герье, ныне Московский педагогический государственный университет». Биохимик Илья Збарский, сын директора лаборатории при Мавзолее Ленина Бориса Збарского, писал: «В ноябре 1939 года я наконец женился на Ирине Карузистой... В связи с этим я переехал в квартиру уже покойного Петра Ивановича, находившуюся в здании Анатомического корпуса... Мы с Ириной поместились в бывшем кабинете профессора Карузиста. У нас была отдельная комната и, что особенно важно, не приходилось ждать очереди в уборную, к умывальнику и к телефону и следить, когда ванная комната на короткий срок освободится от навешанного

там белья и, наконец, можно будет использовать ее по назначению. Но в квартире все же было тесновато».

Выходит, что соседство с трупами вовсе не раздражало молодого мужа.

А некогда популярный адвокат Николай Адрианович Сильверсван совершенно неожиданно обосновался на Собачьей площадке, в историческом особняке Хомяковых. Большую его часть занимал Музей 40-х годов (естественно, имеются в виду сороковые годы XIX века), а в одной из комнат жил адвокат со своей женой Еленой Владимировной. Вероятно, как раз благодаря этой жене — она служила в Третьяковке. Ну и адвокатские способности наверняка не оказались лишними.

\* \* \*

Какими только правдами-неправдами советский человек вселялся на вожделенные квадратные метры! Чего только он не предпринимал! Каких только курьезов не было в тогдашнем советском жилищном хозяйстве. Вот, например, воспоминания Лидии Борисовны Либединской: «Жили мы всей семьей в одной комнате, которую отец получил в центре Москвы от “Общества возрождения Китая” — было в начале двадцатых годов такое общество! Чем оно занималось, я не знаю. В нашем доме жил один-единственный китаец, который, когда мне минуло тринадцать лет, вдруг объяснился мне в любви и даже сочинил русские стихи:

Люди живут, как цветы цветут,  
Моя голова вянет, как трава...»

Особенно активно переоборудовать под коммуналки всяческого рода помещения стали после окончания Великой Отечественной войны. Люди стали жить в сараях, в складских помещениях, в кладовых, в храмах, в котельных. Все это, естественно, не украсило город.

\* \* \*

Удивительно, но коммунальные квартиры были изначально предусмотрены даже в так называемых сталинских высотках, которые изначально строились как

этакое воплощение советской роскоши. Но, с одной стороны, официальная идеология равенства и братства, видимо, мешала заселить их исключительно профессорами, композиторами, партийными деятелями и офицерами КГБ. Некоторые квартиры были отданы рабочим. С другой стороны, все прекрасно понимали, что отдельная квартира в таком доме — чересчур роскошно для простого токаря с завода им. И. А. Лихачева. Это, впрочем, понимал и сам рабочий и охотно заселялся в коммуналку с видом на Москву-реку или Кремль.

В коммуналки превращались и роскошные дореволюционные особняки, которые, казалось бы, никак не подходили для подобных целей. К примеру, особняк — практически дворец — семейства Тютчевых в Москве, в Армянском переулке. Он, впрочем, еще ранее использовался как Дом соцобеспечения им. А. Н. Некрасова, описанный в романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» как дом 2 Старсобеса. Именно тут действовали Альхен, Сашхен и Паша Эмильевич, а Остап Бендер искал воробьяниновский стул и запускал огнетушители. Когда же богадельню упразднили, в доме разместили всевозможные конторы, магазины, а часть отвели под коммунальное жилье.

Под коммуналки была перекроена целая область — Калининградская, бывшая Восточная Пруссия, отошедшая к СССР в 1945 году по Потсдамскому соглашению. Она активно заполнялась гражданами двух типов — военнослужащими и так называемыми переселенцами. Жилье требовалось и тем и другим. И если рядовой состав спокойно размещали в многочисленных казармах, то офицерам и гражданским требовались квартиры. Читай, коммуналки.

Если офицеры изначально знали, на какие именно лишения идут, надев погоны, то с гражданскими поступили, мягко говоря, по-свински. Им обещали молочные реки с кисельными берегами — собственные особняки, богатые подъемные, рогатую скотину и т. д. Действительность была совсем иной. Оперативные сводки регулярно заполняли сообщения такого плана:

«На улице Энергетиков в доме № 71 на 2-м этаже в комнате площадью 22 м кв. проживает 11 человек (семьи рабочих Стовцевой, Дажиной и Вуколовой), на этом же этаже в другой комнате площадью 25 м кв. про-

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

[e-Univers.ru](http://e-Univers.ru)